

Артём Шановалов

ПОЧТАЛЬОН

I

В городе N., который на всех картах обозначался едва приметной точкой, будто жучок поставил осенью на бумаге крошечную запятую, проживал почтальон Семён Петрович Меркулов. Был он человеком неприметным до такой степени, что даже собственные ноги, когда он возвращался с дежурства, иногда отказывались его признавать и норовили споткнуться на ровном месте.

Служил Меркулов на почте тридцать лет и четыре года. Тридцать лет носил он в своей кожаной, стёртой до белизны сумке чужие радости, чужие горести, чужие переводы, чужие извещения, и ни разу, заметьте, ни разу не потерял ни письма, ни открытки, ни даже казённой бумаги с грифом «Срочно». Соседи говорили, что Меркулов не столько ходит по земле, сколько плывёт над нею, чуть слышно шелестя разношенными ботинками, и что голос у него такой, будто кто-то пересыпает сухие листья: ш-ш-ш, ш-ш-ш.

Жил он при почте, в каморке, которую в шутку называли «аппендиксом здания», потому что пристроили её к стене уже после того, как само здание закончилось и даже успело состариться. Каморка имела одно окно, выходившее аккурат на колокольню местного собора, отчего Меркулов просыпался ровно в семь, когда звонарь Макар, мучимый хроническим радикулитом и любовью к раннему завтраку, начинал свои упражнения.

Впрочем, о Меркулове и говорить бы не стоило, если б не одно обстоятельство, которое вскрылось лишь после того, как самого Семёна Петровича настигла история, достойная пера если не Гоголя, то, по крайней мере, человека, умеющего рассказать интересную историю.

II

Началось это в октябре пятьдесят второго года.

Осень стояла такая, что хоть вешайся на первой попавшейся ветке от тоски. Дожди лили, не переставая, и город N. превратился в подобие венецианской гондолы, только без гондол, без Венеции и без малейшего намёка на красоту.

Грязь хлюпала под ногами, небо висело низко, как потолок в бане, и даже воробьи, эти вечные оптимисты пернатого мира, сидели нахохлившись и поминали погоду незлыми, но крепкими птичьими словами.

В такую вот пору и случилось Меркулову нести пенсию старухе Клавдии Степановне Коробейниковой.

Старуха жила на окраине, в домишке, который держался на честном слове и материнских молитвах. Муж её помер ещё до войны, сын, Пётр, ушёл на фронт в сорок первом и пропал без вести под Вязьмой. Так и жила Клавдия Степановна одна, с глазами, которые к тому времени почти совсем перестали видеть белый свет, но зато научились различать что-то другое, неведомое зрячим. Она, например, всегда знала, кто идёт по улице, за три дома. И когда Меркулов, шлёпая по лужам, приближался к её калитке, она уже выходила на крыльцо, шаря перед собой палкой.

— Семён Петрович, — говорила она, и голос у неё был тихий, как шорох осенних листьев под подолом. — Долго ли нынче шли?

— Да как всегда, Клавдия Степановна, — отвечал Меркулов, вынимая из сумки конверт с пенсией. — Дороги нынче, сами знаете.

— Знаю, — вздыхала старуха. — А от Петеньки ничего?

И каждый раз, произнося эти слова, она поворачивала голову так, будто могла разглядеть за спиной почтальона фигуру в солдатской шинели.

Меркулов мялся. Тридцать лет работы на почте приучили его к тому, что правда штука полезная, но не всегда съедобная. Правду, как селёдку без хлеба, можно проглотить, только поперхнёшься.

— Нет, Клавдия Степановна, — говорил он, пряча глаза. — Война кончилась, может, ещё напишет.

— Напишет, — соглашалась старуха. — Он у меня грамотный был. Ещё до войны письма писал — зачитаешься.

И уходила в дом, неся перед собой пенсию, как свечу.

Так продолжалось год, другой, третий. Прошла осень, пришла зима, потом весна, потом снова осень — бесконечный круговорот времени, которое, казалось, забыло про домик на окраине. Меркулов носил пенсию, а Клавдия Степановна всё спрашивала про Петеньку.

И однажды, вернувшись в свою каморку, Семён Петрович сел за стол, достал из ящика лист чистой бумаги, макнул перо в чернильницу и замер.

Над городом N. висела такая тишина, что было слышно, как в соборе мыши точат старые доски. Звонарь Макар, замученный радикулитом и жизнью, давно спал, приложив к пояснице медный пятак. Луна, круглая и наглая, как лицо дореволюционного губернатора на парадном портрете, заглядывала в окошко и, кажется, насмехалась.

Меркулов вывел: «Здравствуй, мама».

И пошло, и поехало.

Писал он долго, старательно, высунув язык от усердия. Писал о том, как Пётр попал в госпиталь, как его контузило, как он долго не мог вспомнить ни адреса, ни имени, а теперь вот вспомнил и сразу сел писать. Писал про то, как кормят, про добрых сестёр, про врача, похожего на Чехова, помните, мама, вы же любили Чехова? Писал, что скоро поправится и обязательно придет, только ты, мама, не волнуйся и береги себя.

Конверт он надписал своим обычным почерком: круглым, каллиграфическим, каким тридцать лет заполнял извещения. И наутро, вручая старухе пенсию, добавил:

— А ещё вам, Клавдия Степановна, письмецо.

И протянул конверт.

Руки у старухи задрожали так, что Меркулов испугался: уронит. Но она не уронила. Прижала конверт к груди, погладила его шершавыми пальцами, будто котёнка.

— От Петеньки? — спросила шёпотом.

— От него, — кивнул Меркулов.

И пошёл прочь, чувствуя спиной, как старуха разрывает конверт, как водит пальцем по строчкам, которые не видит, но которые уже знает наизусть.

III

Через месяц пришло время для нового письма.

Меркулов попробовал было не писать. Зарекся. Сказал себе: «Семён Петрович, ты старый дурак. Ты занимаешься бог знает, чем. Ввел человека в заблуждение. Это же уголовно наказуемо, если разобраться. Подлог. Фальсификация. За это, знаешь ли, по головке не погладят».

Но когда он пришёл к домику на окраине, Клавдия Степановна вышла навстречу не с вопросом, а с улыбкой. Она улыбалась, и лицо у неё было

такое, будто внутри у неё зажгли маленькую лампочку, которую не видно снаружи, но свет от неё идёт тёплый, ровный.

— Семён Петрович, — сказала она, — а я Петеньке ответ собрала. Вот, в узелочке. Хлебца домашнего, сальца, яблочек мочёных. Вы уж передайте, как оказия будет.

И сунула ему в руки узелок.

Меркулов взял. Куда деваться? Взял, принёс домой, развязал. Яблоки пахли так, что слюна набегала. Сальцо было розовое, с прожилкой, настоящее деревенское сало. Хлеб: ржаной, душистый, ещё не успевший зачерстветь.

Семён Петрович сел и заплакал.

Он не помнил, когда плакал в последний раз. Кажется, в детстве, когда у него умерла собака. Но то было давно, и собаку звали Шарик, и она была рыжая и глухая, а это, сало, яблоки, хлеб. И адресат, который не получит посылку.

И тогда Меркулов написал второе письмо.

Он писал, что посылку получил, что сало съел, что яблоки объедение, что хлеб напомнил детство. Писал, что его переводят в другой госпиталь, под Ленинград, но адрес он потом сообщит, а пока пиши на старый, перешлют.

Клавдия Степановна, получив письмо, долго крестилась и всё благодарила Меркулова, хотя тот был совершенно ни при чём. Благодарила Бога, что услышал молитвы, и почту, что работает исправно, и даже правительство, хотя правительство, по правде сказать, «ни сном, ни духом».

IV

Так и пошло.

Письма приходили регулярно. Раз в месяц, иногда в два. Меркулов сделался заправским сочинителем. Он придумал Петру жену, медсестру Таню, потом детей: погодков, Колю и Машу. Таня, по его версии, оказалась сиротой из блокадного Ленинграда, добрая, работающая, с косичкой цвета спелой ржи. Коля пошёл в отца, серьёзный, грамотный. Маша в мать, хохотушка и певунья.

Меркулов так увлёкся, что иногда сам не заметил бы грани, отделяющей выдумку от реальности. Он уже видел перед собой эту Таню, видел, как она хлопчет у печки, как поправляет выбившуюся прядь, как кормит детей манной кашей. Он слышал, как Колька учит буквы, выводя их на клочке бумаги, и как Маша поёт частушки, которые сама же и сочиняет.

Старуха таяла на глазах. Нет, не от болезни, от счастья. Она как будто светилась изнутри, и свет этот пробивался даже сквозь её слепые глаза. Соседи замечали: Клавдия Степановна перестала выходить на крыльцо с палкой, она выходила с улыбкой. И даже осенние дожди, эти вечные плакальщики русского захолустья, перестали её тревожить.

— Ты гляди, — говорили бабы у колодца, — Коробейничиха-то ожила. Сын, вишь, нашёлся.

— Да не нашёлся, — отвечали другие. — Он и не пропадал. Просто раненый был, память потерял. Теперь оклемался, пишет.

— Пи-и-шет, — тянули первые с завистью.

А Меркулов носил письма и носил. И никто, заметьте, никто не догадывался, что эти письма выходят из каморки при почте, из-за стола с продавленным сукном, из-под пера человека, который никогда в жизни не сочинил даже поздравительной открытки без образца.

V

Всё тайное, как известно, становится явью, но явь эта приходит обычно в самый неподходящий момент и в самом неподходящем обличье.

В город N. приехал ревизор. Нет, не тот, знаменитый, из пьесы, а самый обыкновенный, из областного почтового управления. Фамилия его была Шницель, и носил он носил очки, которые то и дело протирал платочком, отчего казалось, что он всё время плачет.

Шницель проверил отчётность, пересчитал конверты, марки, переводы и остался, в общем, доволен. Но перед отъездом, будучи человеком любопытным и дотошным, попросил показать ему «живой процесс».

— Хочу посмотреть, — говорит, — как вы письма сортируете. Как доставляете. Всё-таки живое общение с населением.

Начальник почты, толстый и потный от страха (потому что каждый ревизор для него был как Божий гнев), повёл Шницеля по отделениям. Дошли до участка Меркулова.

— А это наш старейший работник, — отрекомендовал начальник. — Меркулов Семён Петрович. Тридцать четыре года. Ни одной жалобы.

Шницель посмотрел на Меркулова сквозь круглые очки, и Меркулову показалось, что его сейчас просветят рентгеном.

— Очень приятно, — сказал Шницель. — А скажите, коллега, трудно ли в наше время доставлять корреспонденцию?

— Не трудно, — ответил Меркулов, глядя в сторону. — Привычно.

— А бывают ли курьёзы? — не унимался ревизор. — Анекдотические случаи?

Меркулов побледнел. Ему показалось, что Шницель уже всё знает. Что очки его не пенсне вовсе, а рентгеновский аппарат, и что сейчас последует разоблачение, позор, тюрьма.

Но тут вмешался начальник:

— Какие курьёзы, Иван Карлович? У нас всё по инструкции. Мёртвые души, извините, не водятся.

И засмеялся собственной шутке.

Шницель тоже улыбнулся, но как-то криво. И уехал.

Меркулов же, оставшись один, долго сидел в своей камере, глядя на колокольню. Звонарь Макар, мучимый радикулитом, бил в колокола так, что стёкла дрожали. Казалось, вся вселенная наполнилась медным гулом, и в этом гуле тонули все мысли, все страхи, все сомнения.

VI

Прошло ещё три года.

Клавдия Степановна совсем ослепла, но улыбалась теперь всегда. Даже во сне. Соседи, заходя к ней, диву давались: на стене, в рамке под стеклом, висели письма, все до одного, тридцать семь штук. Старуха велела прибить их повыше, чтобы никто случайно не смахнул, и каждое утро «читала» их руками, водя пальцами по строчкам, которых не видела, но которые давно знала наизусть.

— Вот Петенька пишет, — говорила она вошедшим. — Коля у них в школу пошёл, отличник. А Маша, та по хозяйству помогает, мамке с папкой подсобляет. Таня, невестка моя, шлёт поклон. Хорошая женщина, заботливая.

И все верили. Потому что нельзя было не верить этому свету, исходящему от слепой старухи.

Меркулов старел. Спина болела, ноги гудели, и всё чаще по ночам он просыпался от мысли: «А что, если она умрёт? Что тогда делать с этими письмами? С Петром, с Таней, с детьми, которые живут только на бумаге?»

Он попробовал было сбавить обороты. Написал однажды, что Пётр с семьёй переезжает на Дальний Восток, на стройку. Что там плохая связь, писем долго не будет. Но Клавдия Степановна восприняла это на удивление спокойно:

— Ничего, ничего, Семён Петрович. Подожду. Мне не привыкать. Главное, что живы-здоровы. А подождать, это я умею.

И Меркулов понял: придётся врать дальше. Потому что если он остановится, она будет ждать. Будет сидеть у окна, глядя невидящими глазами на дорогу, и ждать. И это ожидание убьёт её вернее любой правды.

Он продолжил писать.

VI

Смерть пришла к Клавдии Степановне тихо, по-осеннему.

Меркулов застал её сидящей на крыльце. Голова была откинута на забор, руки лежали на коленях, а на губах застыла улыбка. Она как будто слушала что-то, чего никто другой не слышал.

Меркулов постоял, снял фуражку. Потом вошёл в дом. В доме пахло яблоками и воском. Письма висели на стене, ровно сорок три штуки. Сорок три письма от Петра, которого никогда не писал.

Меркулов взял одно, наугад, развернул. «Здравствуй, мама...» — прочитал он свой собственный, давний почерк. И заплакал.

Плакал он долго, сидя на лавке, пока за окном не стемнело, и колокольня не утонула в сумерках. Плакал от жалости, от усталости, от того, что больше тридцати лет носил чужие письма, а своих так и не написал. И оттого, что все письма эти были, пожалуй, единственным настоящим делом в его жизни.

VIII

Похоронили Клавдию Степановну на местном кладбище, под берёзой. Народу собралось немного: соседи, поп, звонарь Макар и Меркулов.

После похорон Меркулов долго сидел на скамейке у церкви. Макар, кряхтя, примостился рядом.

— Ты это, — сказал звонарь, — не убивайся. Всяк там будем.

— Знаю, — ответил Меркулов.

— А письма те, — продолжил Макар, глядя куда-то вбок, я их все прочитал. Ты уж извини, случаем вышло. Старуха просила, чтоб я внушительнее читал, когда она пальцем водит. Ну, я и читал.

Меркулов вздрогнул.

— Так ты... знал?

— А чего тут знать? — удивился Макар. — Я ж не слепой. И не глухой. Ты, когда письма сочинял, я всё с колокольни видел. У тебя окно прямо на меня выходит. Сидишь, пишешь, язык высунешь. Прямо как икона «Умиление».

Меркулов молчал.

— Ты не бойся, — сказал Макар. — Я никому. А за старуху спасибо. Она последние годы счастливая была. А счастье, оно, знаешь... оно любой правды дороже.

Он встал, похлопал Меркулова по плечу и, прихрамывая, побрёл к колокольне.

А Меркулов всё сидел, и сидел, пока луна не выползла из-за туч и не залила город N. мертвенным, холодным светом. И в этом свете почтальон вдруг увидел себя со стороны: маленького, сгорбленного человека в казённой шинели, который десятилетиями носил чужие новости, а под конец жизни выдумал целую семью, целую жизнь, целый мир, чтобы одна слепая старуха умерла с улыбкой.

IX

Через неделю Меркулов подал заявление об уходе.

Начальник удивился, но отговаривать не стал. Выписал премию, сказал спасибо за долгую службу. Меркулов собрал свой скарб, оглянул каморку при почте, окно на колокольню, продавленный стул, чернильницу, и вышел на улицу.

Шёл дождь. Такой же, как в тот далёкий октябрь, когда всё началось. Меркулов шлёпал по лужам, и ноги его, казалось, несли его сами, помимо воли. И принесли к домику на окраине.

Домик стоял пустой, с заколоченными ставнями. Калитка была привязана верёвкой. Меркулов постоял, потоптался и вдруг полез в карман. Там лежало письмо. Самое последнее. Он написал его вчера, сам не зная зачем.

«Здравствуй, мама, — было там. — Пишу тебе из Владивостока. У нас всё хорошо. Коля закончил школу с отличием, Маша вышла замуж за лётчика. Таня шлёт поклон. Я скоро приеду. Ты только жди».

Меркулов разорвал конверт, разорвал письмо, разорвал на мелкие клочки и бросил в лужу. Бумага намочка, расплзлась, и буквы поплыли, смешиваясь с грязью.

— Прости, Клавдия Степановна, — сказал Меркулов. — Не умею я врать без тебя.

И пошёл прочь, не оглядываясь.

Х

Но это ещё не конец.

Через месяц в городе N. объявился человек. Фамилия его была Коробейников, звали Петром Степановичем, и был он представьте себе! — живой и настоящий, с нашивками за ранения и орденом Славы на груди.

Приехал он на побывку, а заодно разыскать мать. Оказывается, всё это время он лежал в госпиталях, потом попал в плен, бежал, воевал в партизанах, снова был ранен, снова госпиталь, и только теперь, через столько лет, добрался до родных мест.

Соседи ахнули. Повели его на кладбище. Пётр Степанович постоял у могилы, поклонился, потом пошёл в дом. В доме всё было по-прежнему: иконы, стол, лавка и на стене десятки писем в рамках под стеклом.

Пётр Степанович снял одно, прочитал. Снял другое, третье. Читал долго, и лицо его менялось, становясь то белым, как мел, то красным, как кумач.

— Кто писал? — спросил он хрипло.

Соседи переглянулись.

— Так почтальон, — сказали. — Меркулов Семён Петрович. Только он уволился. Уехал, говорят, в город. Куда именно никто не знает.

Пётр Степанович сложил письма, перевязал бечёвкой и уехал на станцию. Искал ли он Меркулова, нашёл ли про то история умалчивает. Но говорят, что в тот же день из города N. отправили странную телеграмму на имя

некоего Меркулова, Семёна Петровича, до востребования. Текст её никто не знает, но почтовый служащий, отдававший телеграмму, божился, что никогда не видел, чтобы человек так плакал, текст телеграммы.

XI

А Меркулов объявился через полгода. В городе М., который был больше города Н., но ничем, впрочем, от него не отличался, кроме разве что размера. Жил он в коммуналке, снимал угол у старухи - сапожницы, и работал ночным сторожем в овощной лавке.

Днём он спал, а ночью сидел с фонарём и глядел на капусту, морковь и картошку. И мерещилось ему иногда, что капустные кочаны — это головы людей, а морковь их пальцы, и что все они ждут от него писем, новостей, весточки.

Но писем больше не писал.

Говорят, что один раз к нему приезжал человек с нашивками за ранения, с орденом Славы. Просидел всю ночь в сторожке. О чём они говорили, то неизвестно. Только под утро человек вышел, сел в телегу и уехал. А Меркулов остался сидеть с фонарём, и лицо у него было такое, будто внутри у него зажгли маленькую лампочку, которую не видно снаружи, но свет от неё идёт тёплый, ровный.

И по сей день, говорят старожилы, в овощной лавке города М. по ночам горит свет. И если подойти поближе, можно разглядеть в окошке сгорбленную фигуру с фонарём. Фигура сидит неподвижно, глядя на кочаны капусты, и кажется, что она чего-то ждёт. Может быть, письма. Может быть, чуда. А может быть, просто нового дня, чтобы снова зажечь этот маленький, никому не нужный, но такой тёплый свет, который люди называют любовью.

Впрочем, об этом пусть судят философы. Почтальоны же, настоящие почтальоны, знают одно: нет такой тяжести, которую нельзя было бы донести до адресата, если на конверте стоит имя человека, который тебя ждёт.